



политика

К. Е. Коктыш ОНТОЛОГИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО (II)¹

Ключевые слова: рациональность, онтология, ценности, политическая наука, Древний Рим, христианство

**Римский язык
описания
политики:
проект вождя**

¹ *Продолжение.
Начало см. Полити-
тия. 2016. № 2.
С. 33–54.*

² *Плутарх 1994в:
383.*

³ *Там же: 397.*

Институциональная реальность. Впрочем, говорить о прямом наследовании Афинам в отношении Рима трудно. Роскошь и культурная утонченность торговой цивилизации греков заметно контрастируют с воинской простотой и аскезой римлян, возведенными в ранг безусловной гражданской добродетели и в таком качестве на протяжении ряда столетий задававшими публичную картину мира, а вместе с ней — и общепринятые ценности и практики. Образ героя Рима — это бывший трижды триумфатор Маний Курий, который живет в скромном жилище, сам обрабатывает землю, сам готовит себе скудный обед из пареной репы и при этом без тени сомнения отвергает попытку подкупа со стороны самнитских послов, поскольку «ему милее побеждать владельцев золота, чем самому им владеть»².

Да и греческое интеллектуальное наследие довольно долго воспринималось Римом с опаской и подозрением как потенциально разрушительное излишество, которое, возможно, и послужило одной из причин упадка греков. Так, в 155 г. до н.э., когда республика переживала период расцвета и, по идее, уже никак не должна была опасаться внешних влияний, Марк Порций Катон приложил немало усилий, чтобы побыстрее с миром спровадить из Рима прибывших туда по судебному делу, но в ходе своей миссии обретших популярность среди римской элиты афинских философов Карнеада, Диогена и Критолая, «дабы они, вернувшись в свои школы, вели ученые беседы с детьми эллинов, а римская молодежь по-прежнему внимала законам и властям»³.

Тем не менее эта простота и интеллектуальная аскеза отнюдь не стали препятствием для роста и экспансии Рима, сумевшего включить в состав своих владений весьма пестрые в племенном и этническом отношении территории, в том числе ранее принадлежавшие искусственным мудростью наук грекам, и в итоге выросшего в сильнейшую империю, во многом предопределившую цивилизационное понятие Запада. При этом единственной собственно римской новацией в области государственного строительства является его институциональная традиция. Она на самом деле сложна, позволяет создавать весьма изощренные и сбалансированные конструкции и, похоже, никак не зависит от форм правления: каждая их смена (монархии республикой, а республики — империей) лишь давала импульс ее дальнейшему развитию. Во все времена в Риме к услугам власти был мощный институциональ-

но-правовой фундамент, позволявший ей управлять подвластной территорией с населявшими ее народами, вести войны, подавлять бунты и собирать налоги.

Каким образом эта традиция оказалась связана с полудикими воинственными племенами, некогда объединившимися вокруг будущего «вечного города»? Теодор Моммзен отмечает высокий уровень разнородности образовавших три изначальные трибы племен рамнов, тициев и луцеров⁴ — их роднил разве что общеталийский культ Маурса, или Марса, «смертоубийственного божества, низвергающего врагов». Но даже этот мрачный культ не был в полной мере общим: каждая община имела своего Марса, которого почитала самым могущественным и самым святым из всех⁵. Чисто варварское презрение к смерти, готовность завывать и поработать более мирных и, возможно, потому более слабых соседей и отсутствие собственной интеллектуальной традиции и ценностей, предполагавших доверие к ближайшим союзникам, — было ли это достаточным набором условий для порождения оригинального подхода к строительству политических институтов, позволившего в итоге управлять самой великой цивилизацией своего времени?

При внимательном рассмотрении самой институциональной традиции нетрудно заметить, что она базируется на синтезе двух конкурирующих, если не взаимоисключающих, принципов, один из которых предполагает интеграцию, а второй, напротив, дезинтеграцию. Звучат они соответственно: *dura lex sed lex* (суров закон, но это закон) и *divide et impera* (разделяй и властвуй). Возможно, с появлением этих принципов и их дальнейшим объединением в одну систему возник саморазвивающийся механизм, который, генерируя все более сложные институциональные конструкции, тем самым пытался снять свои внутренние конфликты и противоречия. Но тогда возникает вопрос: каким образом эти принципы смогли обрести статус безусловного императива, вытеснив все иные правила и ценности?

Dura lex sed lex. Первый принцип явно восходит к военным практикам и вырастает из них: на поле боя слаженные коллективные действия, взаимная координация и безусловное исполнение приказов являются залогом и выживания, и успеха. Тот, чья армия была более сплоченной, способной точно выполнять приказы и, главное, демонстрировала большую твердость и дисциплину, нежели соперник, заведомо имела больше шансов победить. Иными словами, сильная армия той эпохи подразумевала непреложное подчинение процедуре и строилась на «физической модели массы»⁶, которая вела себя как единый организм, невзирая на обстоятельства смерти и вопреки им, и таким образом обеспечивала себе победу. «Закон» в приведенной максиме означает скорее «приказ», в нем слышится бряцание армейского железа: он не обсуждается, не оценивается, не нуждается в обосновании авторитетом, поскольку он сам по себе авторитет и подлежит неукоснительному исполнению.

⁴ Моммзен 1997: 82.

⁵ Там же: 143.

⁶ Фуко 1999: 235.

⁷ Тойнби 2010:
113—148.

Что послужило тому, что эти практики дисциплины были доведены до совершенства, то есть оказались превыше всего, именно в римской армии? Возможно, причиной стало преодоление той самой разнородности собранных легендарным Ромулом племен — вполне в духе «вызова-и-ответа» Арнольда Тойнби⁷. Ведь именно в разнородности таилась главная угроза возникшему объединению, которое изначально могло быть только союзом с целью вооруженного грабежа и захвата соседних племен. Даже если отвлечься от вполне вероятных ситуаций, когда воинам разношерстной римской армии приходилось воевать против бывших своих сородичей, что ставило под вопрос их лояльность, сохранение родоплеменной идентичности в рамках обогащавшейся армии с неизбежностью вело бы к неравному распределению и рисков, и завоеванного ресурса среди различных групп, к вытекающему отсюда накоплению недоверия и, соответственно, к распаду союза.

⁸ Эббот 2004: 175.

Следовательно, именно перемалывание старой идентичности и создание «нового человека» были главными задачами изначального Рима, условиями его выживания и успеха. Решительный разрыв с прошлыми традициями и привязанностями символизирован многими метафорами, легшими в основу римских преданий. В первую очередь это закладка Ромулом с «нуля» нового города, в который он взял с собой только молодежь, то есть свободных от опыта прошлого людей⁸. Но едва ли не более существенна в этом контексте легенда об убийстве Ромулом своего брата Рема, а вместе с ним и воспитавшего их Фаустула⁹, когда те дерзнули встать на пути его планов. Подобно тому, как у греков образ Кроноса, поедающего собственных детей, легитимировал практики продажи домочадцев в рабство, метафора братоубийства с очевидностью была призвана обосновать приоритет новой реальности, в рамках которой прежним родоплеменным идентичностям предстояло исчезнуть в горниле римского «плавильного котла», породив новую воинскую идентичность.

⁹ Плутарх 1994а:
29.

Успешность утверждения новой военной метафоры в качестве образа жизни и мышления, несомненно, во многом объяснялась долгосрочной выгодностью возникшего военного союза. Социальное пространство вокруг Рима оказалось и достаточно податливым для военного освоения, и в то же время достаточно богатым, чтобы военный грабеж надолго стал основой его хозяйственного уклада. Это требовало устойчивости форматов интеграции и взаимного доверия, и продемонстрировавшая свою продуктивность в бою идея первичности процедуры, идея безусловного подчинения распоряжению, превратившемуся в закон, постепенно взяла на себя и функцию порождения новой картины мира и новых ценностей. В любом живом организме собой одной функции обычно восполняется переразвитием другой — так, например, неспособности видеть сопутствует обостренный слух. Социальный организм тут не исключение: невозможность онтологической и аксиологической адаптации компенсируется адаптацией этологической, когда

¹⁰ Сергеев, Казанцев, Коктыш 2010: 7—14.

практики, становясь фактором интеграции, вызывают к жизни закрепляющие ее процедуры и ритуалы, а те, обретая регулярность и самоценность, в свою очередь начинают формировать новые ценности и новую картину мира¹⁰.

Divide et impera. Вторым по значимости после ведения войны делом был справедливый раздел добычи. И после того как военные практики начали генерировать стабильный доход, естественным образом встал вопрос о создании института, который бы своим авторитетом такую справедливость гарантировал. Эту роль у римлян взял на себя сенат. По преданию, в момент своего возникновения он представлял собой не более чем совет старейшин, то есть институт, преимущественно контролирующий нерушимость традиции. Его создание приписывается Ромулу, который изобрел весьма сложную процедуру: «В первую очередь все население было поделено на три части, которые называли трибами. <...> Каждая из этих триб выбирала трех председателей из числа старейших и наиболее уважаемых жителей. <...> Трибы делились на тридцать округов, и каждый из них выбирал своего главу. <...> Всего получается девяносто девять: девять глав триб и девяносто глав округов. Ромул добавил к этому еще одного человека по своему выбору, и тогда их стало сто»¹¹. Насколько можно судить, главной задачей Ромула было соблюдение принципа пропорциональности представительства собранной вокруг него весьма разнородной массы воинов из разных племен при минимальном количестве недовольных.

¹¹ Эббот 2004: 180—81.

Историческая реальность довольно близка к этому преданию. По мнению Моммзена, в Риме насчитывалось 300 сенаторов, что было пропорционально той воинской силе, которую они могли представлять: «...в разделенном на три части Риме было тридцать курий, триста всадников, триста сенаторов, три тысячи домов и столько же пехотных солдат»¹².

¹² Моммзен 1997: 69—70.

Впрочем, сформированный таким образом сенат был довольно необычным советом старейшин: он носил наследственный характер. Это означает, что упомянутый выше «плавильный котел» оказался вполне успешным и необходимость в племенном представительстве быстро утратила свою актуальность. Но взамен ее быстро возникла новая проблема, и не менее существенная. Захватнические войны вели к быстрому обогащению военной верхушки, и обретенный ею ресурс был достаточно велик, чтобы порождать вопрос о его сохранении в следующих поколениях. Ставший ненужным в качестве института племенного представительства сенат тут же с готовностью освоил новую функцию — институционального узаконивания нарождавшейся аристократии. Он превратился в собрание тех, кто мог передать ресурс, а вместе с ним и гарантирующее его социальное положение по наследству или, соответственно, наследовать его. Как писал по этому поводу Плутарх, «советников звали патрициями либо потому, что они были отцами [patres] законнорожденных детей, либо, вернее, потому, что сами могли указать

¹³ Плутарх 1994а: 30.

своих отцов: среди тех, что стекались в город первое время, сделать это удалось лишь немногим»¹³.

Показательно, что аристократический статус сената, равно как и новые принципы его формирования, были легитимированы весьма кстати подвернувшимся прецедентом, якобы имевшим место еще при Ромуле. Согласно преданию, после истории с похищением сабинянок (поскольку в Риме, возникшем в качестве военного лагеря, не хватало женщин, римляне их попросту похитили у соседнего племени сабинян) и последующим примирением с их отцами и братьями Ромул ввел новую процедуру, в соответствии с которой свежобретенные родственники получили места в сенате. В результате включения новой знати состав последнего удвоился и достиг двухсот человек¹⁴.

¹⁴ Там же: 36.

Оформление сената в качестве института военной аристократии неизбежно должно было расширить его функции. Наряду с прочим этому должен был способствовать концентрический характер римской военной экспансии: Рим расширялся во все стороны сразу. Если бы экспансия имела одно магистральное направление, главным центром накопления награбленного ресурса был бы царь, который бы сохранял за собой властные полномочия, заодно расширяя их за счет новых; роль сената в этом случае едва ли бы вышла за рамки элементарной легитимации его действий. Однако экспансия была круговой. Это требовало дробления военных сил; армии были заняты на нескольких направлениях одновременно и действовали фактически автономно по отношению друг к другу. Царь (или верховный полководец, вне зависимости от того, обладал ли он статусом царя), участвовавший в военных походах, был вынужден делить военную силу; сенат же, находясь в центре событий, напротив, расширял свои прерогативы: к изначальной функции распределения ресурса он естественным образом добавлял и координацию действий армий. В такой ситуации оставалось лишь вопросом времени, когда сенат осознает себя главной властью, нанимающей и увольняющей полководцев. И развитие событий не заставило себя ждать: Тарквиний Гордый, оказавшийся последним царем Рима, был попросту изгнан из города.

Похоже, что именно с утверждением монополии сената на власть внятно формулируется принцип «разделяй и властвуй». Во всяком случае, именно сенат, институционально устраняя любые предпосылки к повторению своего опыта узурпации власти, начал последовательно делить все и вся. Войска были всегда разделены поровну между консулами, дабы бунт одного, если он вдруг возникнет, мог быть подавлен вторым (при поддержке граждан Рима). На краткие годичные промежутки был поделен и срок полномочий консулов — время явно недостаточное для того, чтобы они могли сговориться и совместно выступить против сената. Отдельную заботу сената составляло дальнейшее развитие института гражданства, уникального милитаристского изобретения еще предыдущей, царской, эпохи. Метафора военных действий предполагала деление пространства на внешнее, чужое, и свое, внутреннее.

Институт гражданства стал инструментом, позволявшим эффективно и постоянно осваивать внешнее пространство, превращая военный грабеж в регулярный и наиболее существенный источник массового благосостояния: гражданство предстало одновременно и как обязанность воевать, и как право на долю добычи. Принцип «каждый гражданин — солдат, и каждый солдат — прежде всего гражданин»¹⁵ соблюдался неукоснительно. При этом сенат выступал в качестве главного распределителя прибыли, отделяя полководца и от добытых им трофеев: тот получал свою долю не самостоятельно, а из рук сената и по его решению.

¹⁵ Моммзен 2002:
186.

Таким образом, правление сената на поверку оказывалось не чем иным, как правлением коллективного вождя, создавшего из республиканского Рима настоящую военную корпорацию — со своими крупными акционерами и правлением в лице сената, наемными менеджерами в лице полководцев и массовыми акционерами в лице граждан. Корпорация эта, насколько можно судить, полностью зависела от военно-экономического уклада: не пытаясь ни осмыслить, ни пересмотреть константу в виде необходимости военной экспансии и покорения новых и новых пространств, обеспечивающих приток ресурсов, сенат лишь старался оптимизировать деятельность Рима в ее рамках, сохраняя за собой центральную роль. Трансформации сената в полноценную фигуру жреца не произошло — это был в лучшем случае «полковой» жрец, который никак не претендует ни на изменение правил игры, ни на производство каких-либо новых смыслов.

Не вырос сенат и в полноценную олигархию. Казалось бы, такое развитие было вполне логичным: подобно описанному Плутархом воину, который прославился безумной отвагой, пока полагал себя неизлечимо больным, а получив в награду исцеление, о храбрости тут же напрочь забыл¹⁶, римский привилегированный класс по мере накопления ресурса должен был стремиться избавиться от тех рисков, которые обеспечили ему это положение. Данный процесс, разумеется, шел, но особым образом — путем отделения политической деятельности от военной и превращения ее в относительно самостоятельную сферу. Сенатские олигархи оставались теми же воинами, но уже с деньгами: денежный ресурс рассматривался ими не как нечто самоценное, а преимущественно как средство последующего инвестирования в армию и расширения захватнической деятельности. При этом сенат избегал безоговорочной легитимации роскоши и богатства: те становились желаемым атрибутом частной жизни, однако не выставлялись напоказ в качестве достоинства в жизни публичной.

¹⁶ Плутарх 1994б:
318.

Причин тому много, но основная — это очевидная невозможность для символической фигуры купца полноценно руководить военной силой. Купец, предводительствующий ищущему добычу войску, нонсенс — хотя бы вследствие того, что он будет представлять для собственных солдат альтернативную и, главное, куда более легкую добычу. Кроме того, несомненная перспективность дальнейшего силового освоения новых пространств диктовала постоянное наращивание военной

мощи с вытекавшей отсюда необходимостью поддержания морального духа войск и создания мотивации для солдат, что сделало невозможным и однозначное выделение из состава сената отдельного купеческого сословия.

Процедура как образ мышления. Итак, доминирование фигуры коллективного вождя в республиканском Риме оказалось достаточно бедным в плане производства каких-либо альтернативных захвату богатств и пространств смыслов. Диалектический синтез двух корневых метафор позволил создать логичную и стройную систему рационального, вполне способную к развитию, но при этом ограниченную идеей первичности и нерушимости процедуры. Изначальная ее успешность тем вернее становилась — вполне в духе Тойнби — причиной последующего закосневания правящего меньшинства, которое сакрализовало свой удачный опыт¹⁷ и в дальнейшем из всего спектра возможного могло видеть лишь узкий его сегмент, вписывающийся в тесные рамки процедурной онтологии. Именно так, на основе процедурного рационализма, конструировалась, в частности, бесхитростная римская картина мира, согласно эпохе принявшая формат пантеона. Совершенно очевидно, что у римлян не боги выше процедуры, а, наоборот, процедура выше богов и именно она предписывает им их роли и задачи. Собрание богов скрупулезно организуется на вполне бюрократическом по духу распределении между ними функций сообразно сугубо земной необходимости.

¹⁷ Тойнби 2010: 352—353.

NB! В связи с этим Моммзен с некоторым изумлением констатирует, что, строго говоря, в римской религии в принципе отсутствует что-либо святое, то есть сакральное, стоящее вне непосредственной реальности и формирующее ее, — все римские боги озабочены исключительно земными вещами, производными от повседневных практик: «В римской религии нет ничего самобытно ею созданного, что можно было бы поставить наряду с нравственным преобразованием земной жизни в религии Аполлона, с божественным опьянением в поклонении Дионису, с глубокомысленным и таинственным культом хтонических богов и с мистериями. Она не была в состоянии возбуждать того священного трепета, к которому также влечет человеческое сердце; она не была в состоянии проникнуться тем, что есть непостижимого и даже злого в природе и в человеке, без чего не может обойтись религия, если человек целиком должен растворяться в ней. <...> В римской религии едва ли было что-либо покрытое таинственностью. Национальное римское богословие старалось выяснить для себя все сколько-нибудь значительные явления и их свойства и затем, дав каждому из них надлежащее название, распределить их по разрядам (согласно с той классификацией лиц и вещей, которая лежала в основе частного права), для того чтобы знать, к какому богу или разряду богов следует обращаться и

каким способом, и для того чтобы указать этот правильный способ народу (*indigitare*). Римское богословие в сущности и состояло из таких поверхностно-отвлеченных понятий, отличавшихся чрезвычайной простотой и наполовину заслуживающих уважения, наполовину смешных; понятия о посеве (*saeternus*) и полевых работах (*ops*), о почве (*tellus*) и о межевых камнях (*terminus*) олицетворялись в самых древних и в самых высокопочтимых римских божествах»¹⁸.

¹⁸ Моммзен 1997: 144—145.

Процедура определяла и базовые жизненные смыслы, которые по большому счету сводились к возможности сделать карьеру в рамках римской военно-политической корпорации. Это вполне объясняет, почему в республиканском Риме внешне могущественные герои-полководцы, несмотря на всю свою славу и блеск, обладали лишь видимостью власти и конкуренция за благосклонность сенаторов их беспокоила куда больше, нежели достижение побед на поле боя. В этом плане весьма показательна история Марка Порция Катона, выходца из плебса, сумевшего сделать впечатляющую карьеру военного, а затем — и политика. Примечательно, что на протяжении всего своего жизненного пути он был в высшей степени озабочен формированием своего публично-политического имиджа, последовательно создавая себе репутацию бескомпромиссного поборника республиканских идеалов. Ключевым адресатом пиара, безусловно, был всемогущий на тот момент сенат, своими решениями и создававший, и уничтожавший полководцев как возможных политических игроков.

Катон неизменно демонстрировал подчеркнутый аскетизм, не нося дорогих одежд и ведя нарочито экономный образ жизни — вплоть до привычки продавать старевших рабов, «чтобы даром не кормить»¹⁹. В 30 лет он получил публичную известность, обвинив перед сенатом полководца Сципиона Старшего, к которому был назначен в африканский поход квестором, в неуместных и завышенных тратах и в том, что, погрязая в роскоши, тот «губит исконную римскую простоту»²⁰. Много позже, уже после собственной победоносной войны в испанской провинции в качестве консула, он совершил абсолютно беспрецедентный шаг, распределив свою долю добычи между солдатами и в результате оставшись ни с чем — если не считать, конечно, свалившейся на него после этого славы²¹. При этом, отплывая из Испании, он даже оставил на берегу своего коня, «не желая обременять государство расходами на его перевозку через море»²², изумляя, поражая и восхищая Рим своим бесребренничеством.

¹⁹ Плутарх 1994б: 385.

²⁰ Там же: 384.

²¹ Там же: 389.

²² Там же: 386.

Впрочем, судя по всему, эти инвестиции в собственный пиар были более чем осознанными и просчитанными. Так, в Испании его должен был сменить тот самый Сципион Старший, против которого он в свое время затеял «антикоррупционный скандал» и который явно горел желанием рассчитаться за прошлое, — и совершенный на упреждение широкий жест Катона сделал заведомо невозможными любые обвинения в его адрес. В другом важном походе — против Антиоха в Греции — он,

²³ Там же: 391.

будучи лишь военным трибуном под началом Манья Ацилия, сумел получить главные лавры за одержанную победу, для чего лично выехал в Рим, чтобы возвестить о ней. Да и вообще, сообщает Плутарх, Катон «никогда не скупился на похвалы самому себе и отнюдь не избегал прямого хвастовства, считая его спутником великих деяний»²³. Впоследствии, став цензором, он не изменил своему демонстративному аскетизму и решительно боролся с коррупцией и олигархами, на верное первым опробовав столь неоднозначный популистский шаг, как снос частных зданий, заступавших на общественную территорию.

²⁴ Там же: 394.

NB! Плутарх так описывает его деятельность на посту цензора: «Нимало не обеспокоенный упреками и порицаниями, Катон действовал все ретивее: он приказал перекрыть желоба, по которым вода из общественного водопровода текла в частные дома и сады, разрушить и снести здания, выступившие за пределы частных владений на общественную землю, сократил плату за подряды и до предела поднял цену откупов государственных налогов; следствием всего этого была лютая ненависть к нему»²⁴.

²⁵ Там же: 397.

Но когда бессребреник Катон, став частью нобилитета, закончил свою активную карьеру и необходимость в пиаре отпала сама собой, ситуация резко изменилась. В частной жизни он неожиданно нашел себя в том, что, казалось бы, всю жизнь презирал и с чем в бытность цензором боролся, а именно в ростовщичестве и безудержном накоплении. При этом он весьма в нем преуспел, не только загоняя в долги своих клиентов и рабов (последние приобретали на заемные деньги других рабов, в течение года их обучали и продавали), но и не брезгуя «самым гнусным»: он понуждал своих должников вкладывать одолженные у него под безумные проценты средства в организованную им же самим морскую торговлю, перекладывая таким образом все возможные риски на заемщиков²⁵. Впечатляющая карьера воина и политика, воплотившего в себе все республиканские добродетели, при ближайшем рассмотрении оказывается не более чем карьерой выбившегося из низов менеджера. Положив на алтарь карьеры всю свою жизнь, он сумел-таки дойти до самого верха — и там к своему разочарованию, а возможно, и ужасу не обнаружил по большому счету ничего, что оправдывало бы его жертвы, кроме, разумеется, доступа к богатствам. Во всяком случае, это представляется логичным объяснением внезапного превращения бескорыстного и великодушного героя-полководца в жестокосердного ростовщика.

Как уже отмечалось, на протяжении всей своей истории Рим существенно зависел от внешних факторов: блеск и содержательная пустота республики могли продолжаться ровно столько, сколько продолжался прибыльный грабёж окружающего социального пространства. Внешняя среда, таким образом, предопределила как рождение республики из монархии, так и рождение империи из республики. Посто-

янно расширявшаяся география военных походов приводила к постепенному наращиванию мощи военной машины, обретавшей все большую самостоятельность, к сокращению количества серьезных противников и, главное, к сокращению серьезных трофеев, которые еще можно было завоевать. Перспектива уничтожения последних врагов неизбежно порождала вопрос: за счет чего будет дальше существовать эта мощь и куда она будет повернута? Наиболее вероятной следующей жертвой логичным образом оказывался сенат с накопленными им ресурсами. Вероятно, именно предчувствие подобного поворота событий и крылось за знаменитым высказыванием Публия Сципиона Назики: «Мне кажется, что Карфаген должен существовать»²⁶, — в отличие от многих своих современников, Назика ощущал спасительность фактора внешних врагов для стабилизации римской корпорации в достигнутом ею качестве. Однако его голос, как известно, не был услышан, и третья Пуническая война, стершая с лица земли последний реальный противник Риму, состоялась. Последовавшее за ней уничтожение галльского Верцингеторига на севере и Митридата Евпатора на востоке, по сути, ознаменовало и конец республики: наемный военный менеджер совершил переворот, вновь соединив воинский блеск с властью и превратившись в главного бенефициара римской военной корпорации.

Удивляет оказавшийся на поверку крайне небольшим запас легитимности сената. Установление империи не привело к сколько-нибудь существенным потрясениям, из чего следует, что республика к тому моменту представляла собой уже прогнившую конструкцию. Помимо прочего это объяснялось особенностями построенного на экспансии римского уклада и процедурного типа рациональности: римский вождь (неважно, индивидуальный или коллективный) был легитимен ровно до тех пор, пока мог обеспечивать постоянное поступление ресурса; когда же он с этим переставал справляться, то с изумлением обнаруживал, что иных, ценностно обусловленных социальных точек опоры в его распоряжении просто нет, и процедурная логика разворачивалась против него самого. Снижение доходности должно было вызвать в том числе обострение политической конкуренции и эрозию, если не слом, базовых механизмов публичной политики. Подтверждение тому мы легко находим в исследованиях эпохи Цезаря: свидетельства об огромных и тотально раздаваемых взятках²⁷ многочисленны и постоянны. Сенат «разросся и превратился в безобразную и беспорядочную толпу», в нем было «уже более тысячи членов, и среди них люди самые недостойные, принятые... за взятку»²⁸.

В пользу тезиса о процедурном типе легитимности сената говорит и то обстоятельство, что республика, осознавая себя военным лагерем, похоже, почти не занималась тем, что можно было бы назвать культивированием социального капитала и созданием социальных благ. Единственным исключением был институт гражданства, но он опять же скорее отделял привилегированный Рим от подчиненных ему провинций, нежели интегрировал их в единое культурное поле. Главнейшие

²⁶ Там же: 400.

²⁷ Goldsworthy 2006: 3, 18, 72, 109, 148.

²⁸ Сестоний 1964: 49.

архитектурные памятники Рима созданы или при царях, или при императорах, то есть тогда, когда полноценный военный грабеж либо еще не стал доминирующим укладом, либо уже перестал им быть и власти требовались иные средства интеграции римского общества. Так, при царях были построены храм Юпитера, канализация и цирк²⁹; Сулла строит табуларий, хранилище законов и трактатов, а Цезарь «разрабатывает настоящий генеральный план, которому придает силу с помощью закона „de urbe augenda“»³⁰. В республике же искусства затухали, в лучшем случае воспринимаясь как трофей³¹.

²⁹ *Тит Ливий 1989:* 59.

³⁰ *Арган 1990:* 65.

³¹ *Там же:* 63.

³² *Светоний 1964:* 46.

³³ *Там же:* 54.

³⁴ *Там же:* 51.

³⁵ *Там же:* 69.

Август, присоединением Египта совершивший последнее крупное завоевание в истории Рима, уже всерьез задумывался о возможности трансформации римской корпорации. Он занимался интенсивным градостроительством и по праву гордился «тем, что принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным»³². Впервые в истории Рима Август начал инвестировать в провинции (до этого столица была исключительно получателем ресурса), стал выстраивать там каналы вертикальной мобильности и щедро раздавать гражданство³³, одновременно затрудняя получение его за взятку в самом Риме³⁴. Правда, его энергичные усилия оказались ограничены емкостью процедурной метафоры и по большому счету свелись к ресурсному перераспределению в ее рамках — всей искренней веры Августа в чудеса и знаменья³⁵ не могло хватить на то, чтобы оживить римский пантеон и побудить его производить альтернативные предписанным процедурой римского богословия смыслы. Вождь попытался сконструировать жреца, однако процедурный рационализм ограничил эффект его действий, позволив лишь смягчить правила и нравы, но не изменить суть вещей.

Но даже и это дало потрясающие результаты. Активные попытки Августа построить общее культурное пространство, которое, собственно, только и могло превратить объединенные внешней силой в высшей степени разнородные территории в единое целое, не замедлили принести плоды. Впервые в истории Рима расцвели искусства и науки, в содержательный оборот стали вводиться новые жизненные смыслы, несопоставимо более интересные и глубокие, нежели Рим до того мог породить или воспринять, и уровень внутреннего доверия начал расти. В результате раздиравшие империю центробежные силы затухли, утратив свою энергию, а затем и вовсе уступили место центростремительным: вчерашние покоренные враги Рима превратились в полноценных римлян, вкладывавших свои силы и талант в процветание империи.

Усилия Августа по конструированию символической фигуры жреца продолжил Диоклетиан, действовавший, правда, уже в условиях дефицита ресурсов, а не их относительного изобилия. В итоге Диоклетиан довел централизацию до логического конца, превратив сам Рим вплательщика налогов. Он создал и символическую фигуру жреца, вполне по-римски назначив верховным богом самого себя, что, впрочем, было продиктовано отнюдь не властолюбием, Диоклетиану, похоже, не свой-

ственным, а необходимостью утверждения единой системы мер и весов, которая бы позволила снять внутренние барьеры для торговли: единый бог означал и единую меру. Финансы и личная администрация императора объединились³⁶. Термин *dominus* («господин, хозяин»), первоначально обозначавший рабовладельца, теперь стал использоваться для обозначения императора и бога³⁷.

³⁶ Моммзен 2002: 434.

³⁷ Там же: 419.

Однако и деятельность Диоклетиана не вышла за рамки процедурной метафоры, содержательная емкость которой, как мы видели, довольно невелика. Нетрудно заметить, что первичность процедуры помимо всего прочего ведет к постоянному «перемальванию» находящихся в обороте ценностей, которые в результате мельчают и девальвируются, тем самым снижая и основанный на ценностях интегративный потенциал общества. В конечном счете из всех ценностей в обороте остается только базовый материальный ресурс, который и становится единственным средством легитимации власти. Пока сохраняется его постоянный приток, такая ситуация не представляет проблемы, но вот возникновение его дефицита тут же порождает кризис властных структур.

Одной из причин того, что производящая парадигма хозяйствования (в отличие от торговой) так и не была внедрена в Римской империи и несколько ярких попыток изменить положение вещей не дали желаемого эффекта, являлся низкий уровень ценностной интеграции римского общества. Вождь не справился с производством жизненных смыслов, и огромный ресурс, на какой-то момент оказавшийся в полном его распоряжении, был попросту промотан.

**Христианский язык
описания политики:
проект жреца**

Приход и утверждение христианства. Перехватывающий из ослабевших рук вождя символы власти христианский жрец в оценке наследия беспощаден и ироничен. Для именованной минувшей героической эпохи он производит точную, логичную и абсолютно убийственную характеристику: это просто дым. Дымом является и вся земная слава вообще: «...если бы нравственная распущенность времени допускала, чтобы почетнейшими были люди лучшие, то и в этом случае человеческий почет не должен был бы считаться чем-либо особенно важным; потому что дым не имеет никакого веса»³⁸. Приход христианской онтологии и в самом деле кардинально меняет всю систему координат, придавая ей глубину, которой так не хватало: иными становятся и критерии рационального (то, что приближает к граду Божьему, имеет значение, остальное — нет), и политические смыслы, и, разумеется, язык описания политической реальности. Земная слава меркнет перед вечностью, блеск ее тускнеет, хотя и не исчезает, а прежде очевидные смыслы оказываются частным случаем более сложной системы — развивая нашу метафору о социальном организме, можно сказать, что тот обрел наконец зрение. Действительно, если самые радикальные перемены на земле ничего по большому счету на ней не изменили,

³⁸ Августин 2000: 248.

то полагавшиеся ранее великими деяния нужно считать скорее метаниями и ненужной жестокостью. Ради чего и зачем Рим осуществлял свои завоевания, если в итоге он сам стал жить по тем же законам и правилам, что и побежденные им народы?

NB! Эту установку отчетливо выразил Августин Блаженный: «Ведь в том, что касается настоящей кратковременной жизни смертных, разве имеет существенное значение то, под чьей властью живет человек, который должен умереть, если только повелевающие не принуждают его к бесчестию и несправедливости? Разве римляне чем-нибудь повредили тем народам, которым, после покорения их, дали свои законы, за исключением того, что это сделано было ценой жестокого военного поражения? Случись это по взаимному соглашению, оно имело бы куда лучшие последствия: не было бы только славы триумфаторов. Ведь и сами римляне жили по тем же своим законам, которые давали другим. Происходи это все без участия Марса и Беллоны, не имей места победа (где никто не сражается, там и некому побеждать), — разве римляне не жили бы в одних и тех же условиях со всеми другими народами? Тем более это было бы так, если бы с самого начала было сделано то, что с большой охотой и в высшей степени человеколюбиво было сделано впоследствии, а именно: чтобы все, принадлежащие к Римскому государству, имели участие в гражданской жизни и были римскими гражданами; тогда бы достоянием всех сделалось то, что прежде было достоянием немногих. Только чернь, не имевшая собственных полей, содержалась бы за счет государства; но содержание это доставлялось бы добрыми правителями государства гораздо охотнее при согласии между ними и народом, чем в то время, когда они были принуждаемы к этому силой»³⁹.

³⁹ Там же: 246—247.

В рамках новых христианских метафор полностью переосмысливается политика: отныне она обретает свою цель и, не переставая быть «общим делом», превращается в способ странствия града земного к граду Небесному. Возникает понятная аксиология: то, что приближает к граду Божьему, — добро, то, что отдаляет, — зло. Переосмысливается концепт свободы: наряду со свободой индивидуальной появляется свобода общества в целом, которая — в рамках концепта соборности — предстает выше власти светской и духовной. Соответственно, меняется и язык описания социальной реальности. Политическое знание претерпевает заметную реконцептуализацию: в центре внимания отцов церкви — прежде всего Климента Александрийского, Филона Александрийского, Юстина-философа, Феофила Антиохийского, Афанасия Великого и, конечно, Оригена⁴⁰ — теперь оказывается не столько государство со своими особенностями и принципами построения, сколько возможность контроля над ним и подчинения власти вождя институциональным и этическим императивам, ограничивающим его произвол и зада-

⁴⁰ См. Ноек 1997; Грицанов 1998; Мейендорф 2002.

ющим направление развития. Главной фигурой политической системы становится жрец, обладающий легитимным правом на артикуляцию и интерпретацию системы ценностей, которой и ограничивается суверенитет государства. Ключевым институтом новой политической системы является Церковь: отвечая за жизнь загробную, она тем самым получает право полностью регулировать и оценивать жизнь земную, поскольку та есть не что иное, как приурочивание к жизни вечной. Юрисдикция церкви приобретает тотальный характер.

NB! Весьма показателен в этом отношении следующий пассаж из «Книги о смертности» Киприана Карфагенского: «Надобно размышлять, возлюбленнейшие братья, и почаству думать о том, что мы отрелись от мира и находимся здесь временно, как гости и странники. Будем же благословлять день, который каждого из нас приводит к собственному его жилищу, который, восхитив нас от земли и разрешив от мирских уз, возвращает нас в рай и в Царство Небесное. Кто, находясь на чужой стороне, не спешил бы вернуться в отечество? Кто, поспешая на корабль к своим, не желал бы пламенно попутного ветра, чтобы скорее можно было обнять своих друзей? А мы отечеством своим почитаем рай... почему же не спешим скорее увидеть свое отечество, приветствовать родных? <...> Какое там веселие в Царстве Небесном, где нет уже страха смерти, какое высочайшее и всегдашнее блаженство при вечной жизни! Там славный лик апостолов; там сонмы радующихся пророков; там бесчисленное множество мучеников, увенчанных за победу в борьбе и страдании; там торжествующие девы, силою воздержания победившие вожделения плоти и тела; там восприявшие награду благотворители, которые, снабжая пищу и щедрыми подаваниями нищих, земные наследственные сокровища свои перенесли в сокровищницы небесные. К ним-то поспешим, возлюбленнейшие братья, с неудержимую любовью, с пламенным желанием — быть скорее с ними, скорее прийти ко Христу»⁴¹.

⁴¹ Священномученик Киприан 1999: 306.

Политическая наука: католицизм и православие. Что представляет для нас наибольший интерес, так это то, что политическая наука обретает новый предмет и объект исследования. Она надолго принимает форму богословия, которое, впрочем, оперируя понятиями вечного, регулирует дела вполне земные — власть и государство обустроиваются сообразно правилам и нормам града Небесного. Что примечательно, разность корневых метафор, положенных в основу католицизма и православия, во многом обуславливает и разность рационализма, возникавшего в каждом из случаев.

Так, католицизм опирался на постулат о безусловном и безоговорочном доминировании в политической системе фигуры жреца в лице папы римского: проповедуя с кафедры апостола Петра, он в силу этого, по мнению католических богословов, должен был получить не только

первенство перед остальными епископами, но и право наместничества святого Петра на земле, то есть первенство перед монархами. Православие же, напротив, стало опираться на принцип соборности как способ решения вопроса о сосуществовании вождя и жреца, которые мыслились как равновеликие фигуры. Это разделение носит вполне объяснимый исторический характер.

⁴² Норвич 2010: 78.

Став одним из четырех тетрархов и предвидя неизбежность войны с остальными тремя соправителями, Константин совершил гениальный ход: Медиоланским эдиктом⁴² он предоставил свободу действий каталкомбному, но уже достаточно распространенному христианству (в государственную религию оно превратилось спустя 67 лет, при Феодосии), освободил Церковь от налогов и передал ей безвозмездно огромное количество недвижимости. Тем самым он сделал всех христиан своими союзниками, одним решением создав в остальных трех четвертях империи мощную «пятую колонну», что во многом предопределило его грядущую победу. Борьба за власть тем не менее затянулась — за это время успело вырасти поколение, для которого христианская онтология была единственно возможной. Соответственно, перед победившим Константином встал нетривиальный вопрос о конструкции новой политической системы, которая бы делила власть между ним и Церковью. Признать, что легализованная им Церковь выше него, он не мог, но в равной степени он не мог и подчинить себе Церковь. Невозможно было и разделить полномочия между светской и духовной властью, ведь, как уже говорилось, юрисдикция Церкви, оценивающей мир земной с точки зрения его движения к граду Небесному, тотальна, а значит, нет такого дела, которое бы не подпадало под ее компетенцию.

Найденный Константином выход оказался не менее талантливым, чем его первый шаг. Как известно, для решения потенциального спора между любыми двумя властными субъектами нужен третейский судья. Таким судьей — и над властью светской, и над властью духовной — в политической архитектуре Константина оказалось само общество. Концепция соборности, в соответствии с которой все главные вопросы определяются судом общества, стала основополагающей для православного извода христианства. Нашел Константин и изящное решение для проблемы перевода смутных народных чаяний на язык политического *ratio*. Эту функцию взяло на себя византийское богословие, занятие которым отнюдь не было церковной монополией: по сути, ближайший современный аналог ему — политическая журналистика.

NB! Как отмечает Иоанн Мейендорф, «в Византии богословие никогда не было монополией профессионалов или „учащей церкви“». На протяжении всего византийского периода не было ни единого церковного собора, решения которого не оспаривались бы, а попытки некоторых императоров регулировать свободу совести своих подданных с помощью указов встречали не столько отпор со стороны последовательно независимого священноначалия, сколько

⁴³ Мейендорф 2001:
12.

молчаливое сопротивление полноты тела Церкви. Этот недостаток ясного и юридически определенного критерия Православия подразумевал, что ответственность за истолкование истины разделяется всеми»⁴³.

⁴⁴ Мейендорф 1997:
140.

По-иному развивались события в западной части империи. Обнаружив себя главной властной силой в пространстве образовавшегося безвластия, римское епископство начало выстраивать властную иерархию, основанную на постулате о примате папы. Борьба за продвижение этого постулата, ставшая ключевым направлением деятельности будущей католической Церкви, носила, однако, настолько закамуфлированный характер, что не была вовремя осознана и отрефлексирована восточной Церковью. Восточные церкви, констатирует Мейендорф, «долго не замечали, что их искренние, хвалебные выражения по адресу пап, прославившихся благочестием (что не помешало им осудить папу Гонория на VI Вселенском соборе за ересь монофизитства), будут истолкованы, в римской канцелярии IX-го или XI-го веков, как формальные определения прав Римской церкви, основанных на преемстве Петра»⁴⁴.

В этом плане вполне естественно, что католицизм обращается к Платону — именно христианская онтология в католической ее интерпретации позволяет в полной мере воплотиться его идее о просвещенном правлении философов. Православное же богословие, более тысячи лет развивавшееся в византийской традиции, столь же естественным образом больше опирается на Аристотеля и его идею общего блага, которое под именем справедливости становится главным критерием оценки обществом деятельности и светской, и духовной власти.

Тем не менее в обоих случаях мы можем говорить о наступлении нового периода интенсивного развития политической науки. В рамках христианской онтологии ее функции, по сути, остались теми же, что и в рамках онтологии античной: распределение и легитимация власти в усложнившейся политической системе, ресурсное и статусное распределение, выстраивание целеполагания и внутреннего доверия, взаимодействие основных иерархий и интеграция общества. Остался неизменным и центральный вопрос политики — организация процесса изъятия и перераспределения ресурсов на номинально общенародные цели. Что изменилось (если не впервые появилось), так это понятие общенародного: парадигма града Небесного делала социализацию общества в духе христианства, то есть его просвещение и развитие, главным императивом, следуя которому только и могла сохранять легитимность исполнительная власть. Это определяло приоритеты процесса изъятия и перераспределения ресурсов: строительство церквей, а позднее — университетов стало одной из важнейших форм инвестирования изымавшегося в виде налогов, сборов и повинностей общественного богатства.

Университеты, индульгенции и инквизиция. Каждая система метафор задает свою политическую архитектуру, у которой, разумеется,

⁴⁵ Коктыш 2002.

⁴⁶ Решение, объявлявшее римского епископа викарием святого Петра, было принято в 382 г. Римским синодом во главе с папой Дамасом в ответ на произошедшее годом раньше, на Втором вселенском соборе, возвышение Константинопольского епископства, представлявшего действующую столицу Римской империи.

есть свои сильные и слабые стороны⁴⁵. И если метафора соборности, положенная в основу православия, оказалась достаточно сбалансированной как минимум на протяжении византийского периода, обеспечивая сопоставимые полномочия власти светской и власти духовной, то метафора примата папы римского предполагала довольно сильный дисбаланс в пользу Церкви. Это делало ее и сильной, и — в той же степени — уязвимой. Действительно, постулат о наместничестве папы римского, более или менее настойчиво продвигавшийся Ватиканом начиная с 382 г.⁴⁶, давал Церкви потрясающий ресурс подавления несогласных. Спорить с папой означало спорить с волею небес, и любой монарх католической ойкумены в случае излишней строптивости легко мог оказаться в положении императора Генриха IV в Каноссе, когда тот, согласно преданию, босым и в рубище три дня вынужден был стоять под стенами замка, вымаливая прощение у папы Григория VI. С другой стороны, такой порядок вещей превращал каждого папу во все более безнадежного заложника нормативного творчества своих предшественников, ведь воля Всевышнего, явленная через папу, как правило, имеет писаную форму, будучи зафиксирована в виде буллы. Бог же не может противоречить сам себе и менять свою волю каждую сотню лет, а значит, каждая следующая папская булла не может противоречить ни одной из предыдущих.

На практике такое заведомо невозможно. Жизнь меняется, меняются хозяйственные уклады, а вместе с ними — и система ценностей. Так, добродетель и порок в значительной степени поменялись местами уже при переходе от крестьянского труда к ремесленному: если патриархальная культура табуирует новации как нежелательное отклонение и угрозу, то успешность ремесленника зависит именно от его способности их производить и внедрять. Более же сложные формы разделения труда и кооперации, например цех, неизбежно будут предъявлять к системе ценностей и куда более изощренные требования.

Иными словами, нормы, а любая папская булла есть не что иное, как обязательная для исполнения норма, должны были со временем меняться. Но меняться, во всяком случае очевидным образом, они не могли, и чем дальше, тем больше модификация норм оказывалась возможной лишь в узком и сужавшемся с каждой новой буллой спектре, границы которого определялись условием непротиворечия всякой последующей нормы совокупности предыдущих. Легко заметить, что такое положение вещей прогрессирующе снижало емкость католической системы мировоззренческих метафор. Конечно, этот процесс был небыстрым, поскольку любая картина мира обладает пластичностью, то есть способностью «растягиваться», интегрируя в себя и адекватно объясняя в своих терминах появляющиеся новации. Проблемы начинаются тогда, когда соответствующий механизм дает сбой и в системе возникает дисбаланс между обнаруживаемыми обществом в процессе своего развития феноменами и объяснительной способностью той мировоззренческой метафоры, из которой данное общество исходит.

История католицизма — это по большому счету история постоянных попыток «растянуть» свою базовую систему метафор, основанную на неоспоримых полномочиях жреца по отношению ко всем прочим участникам политической системы. Вначале такие попытки носили откровенно манипулятивный характер: сакральным языком католической Церкви была объявлена латынь, которая к тому времени уже ушла из разговорной речи и, следовательно, была непонятна большинству прихожан. Более того, в какой-то момент Церковь решила в принципе отгородить Священное Писание от мирян: согласно постановлению Тулузского собора 1229 г. им прямо запрещалось «иметь книги Ветхого и Нового Завета, исключая псалтырь, breviарий и житие Богородицы». «Строжайше запрещено» было также «иметь переводы этих книг на простонародные языки»⁴⁷. Все это открывало необычайно широкие возможности для интерпретации норм и правил применительно к текущим реалиям — любой священник мог трактовать тексты сообразно прагматической необходимости без особого риска быть изобличенным. Правда, два века спустя, с изобретением Иоганна Гутенберга, эта возможность во многом закрылась: доступ к грамотности, в том числе и к изучению латыни, перестал быть эксклюзивным достоянием членов «католического клуба».

⁴⁷ *Цит. по: Ольденбург 2001: 88.*

Однако прямые запреты малоэффективны. Кроме того, у свободы рук в интерпретации священных текстов, которой благодаря латыни обладали церкви на местах, была и обратная сторона: она не могла не приводить к появлению устойчивых региональных различий. Подобные различия, которые при обретении ими явных форм объявлялись Римом ересями, по сути, представляли собой «бунт на корабле», попытку различных частей церковной корпорации *de facto* заявить о своем ценностном, а иногда и онтологическом суверенитете по отношению к папе. По мере того как Римская церковь накапливала могущество, а соответственно, и контроль над статусным распределением и ресурсными потоками, такие попытки становились все более серьезными. Выплескивание порожденных ими конфликтов в мир наносило очевидный ущерб не только властному потенциалу Церкви, но и легитимности всей католической системы метафор. Между тем инструментов снятия этих конфликтов внутри самой Церкви оказалось крайне мало, если они вообще были: постулат о примате римского папы заведомо выводил за пределы содержательного обсуждения даже внутри церковной корпорации слишком широкий круг тем. На это накладывались и внешние вызовы: постепенное распространение образования вело к обнаружению все новых эмпирически наблюдаемых феноменов, не поддававшихся самоочевидному объяснению в рамках сложившейся картины мира, что, в свою очередь, стимулировало поиски их когнитивного обоснования за пределами доминирующей системы метафор, то есть брожение умов. Вкупе с фактором ересей это создавало взрывоопасную смесь, которая ставила под угрозу сохранение утвердившегося порядка вещей.

Необходимость преодоления этой совокупности проблем породила новый — и крайне интересный — этап развития, в ходе которого содержательная внутрикорпоративная борьба во многом была вынесена за пределы официального института церкви, в силу чего обрела снятые и куда более мирные формы. В момент, когда и внутренние, и внешние противоречия превратились в нечто большее, нежели просто маргинальный шум, и игнорировать их стало уже невозможно, католические «хранители метафоры» решились возглавить процесс, и на свет появился университет. Изначально он являлся своего рода лабораторией интерпретации метафоры, ведь, по сути, знаменитые схоластические споры были не чем иным, как попыткой оживить и «растянуть» косневшую систему мировоззренческих метафор католицизма, а заодно и дать им легитимное толкование, которое бы синтезировало большинство возникавших разночтений без ущерба для авторитета Церкви: в новой ситуации римский папа оказывался в роли финального арбитра, которому теперь принадлежало не первое, но последнее слово. Не случайно место «королевы всех наук», изучавшихся в университетах, заняло богословие, которое в современных терминах правильнее было бы назвать юриспруденцией: в нагромождении норм и правил, в изобилии порожденных папскими буллами, богословам нужно было обнаружить еще не занятые ниши и пространства, способные обеспечить поле для маневра. Потенциально опасная наука тем самым была надолго монополизирована Церковью, выступив в качестве инструмента, позволявшего компенсировать непрерываемость воли папы университетской вольницей и запустить процесс адаптации базовой системы метафор католицизма к меняющейся реальности.

Рост властных прерогатив и значения Церкви дал толчок переработке в духе концепта наместничества папы и других корневых метафор христианства. Подобно тому, как в римском сенате главенствующий вождь подогнал под себя инструменты купца и жреца, в новой реальности правящий жрец по мере концентрации в своих руках ресурса и власти начал осваивать инструменты и купца, и вождя. Едва ли не самой важной такой операционализацией стало учение о благодати, выводимое богословской традицией из Послания Иакова (5:14–15). У Августина благодать представляла уже единственной основой спасения⁴⁸ и монопольным достоянием Церкви, которая (в качестве посольства града Небесного на земле) и передавала ее верующим в ходе таинств⁴⁹. Фома Аквинский переосмысливал таинства как «инструменты для сообщения благодати»⁵⁰, причем инструменты самодостаточные — обряд таинств полагался действенным *ex opere operato* («в силу содеянного»), вне зависимости от веры или неверия со стороны совершающего его⁵¹. В свою очередь, это открывало возможности для последующей концептуализации благодати как неотчуждаемой собственности Церкви с использованием уже вполне купеческой парадигмы: если Церковь владеет сокровищницей сверхдолжных заслуг, приобретенных Христом и святыми⁵², то она вправе распоряжаться ею на земле.

⁴⁸ *Августин 2008: 148—155.*

⁴⁹ *Хегглунд 2001: 115.*

⁵⁰ *Фома Аквинский 2005: 420—464.*

⁵¹ *Хегглунд 2001: 160.*

⁵² *Там же: 167.*

Наряду с этим были монополизированы и сами практики таинств: на смену публичному покаянию пришло непубличное, ранее свойственное исключительно кельтской и англосаксонской традиции и к IX в. уже исчезнувшее⁵³. Непубличность фактически ограждала священника от суда мирян и тем самым существенно увеличивала его власть, одной из важнейших форм которой было определение меры наказания за грехи, право налагать епитимью в виде поста, молитв, милостыни и т.п. Претерпел изменения и концепт загробного мира, поделенного на ад и чистилище, и если в аду грешник наказывался Богом сообразно качествам души, то в чистилище он отбывал «наказание за явную неблагочестивость своих поступков, которая видна церкви и по ее воле может сурово наказываться еще при жизни грешника»⁵⁴.

⁵³ Там же: 129.

⁵⁴ Соловьев 1984: 41.

Но власть, как известно, куда сильнее проявляется не в исполнении правил, а в способности их менять, модифицировать и нарушать, в том числе в формате исключений. Правда, тут крайне важно чувство меры: если исключения становятся регулярными, они превращаются в правило, тем самым подрывая базовые основания власти *per se*. Именно такое развитие событий мы видим в случае с продажей индульгенций, позволявшей уменьшить епитимью или даже полностью ее отменить за денежную компенсацию. По сути, речь шла об институционализированном синтезе всевластия распоряжающегося благодатью папы и купеческого рационализма. На практике данный синтез оказался достаточно конфликтным, и по мере обнаружения «крайней прибыльности страстного религиозного пыла»⁵⁵ конфликт этот принимал все более жесткий и бескомпромиссный характер. Какое-то из двух начал с неизбежностью должно было поглотить второе.

⁵⁵ Арриги 2006: 181—182.

Первая масштабная капитализация индульгенций, когда логика движения к граду Небесному была подчинена политической прагматике, восходит еще к Клермонскому собору 1095 г., освободившему участников первого крестового похода от всех епитимий. После этого трансформация индульгенции из духовного в финансовый инструмент была фактически предопределена, вопрос заключался только в темпах развития процесса. А развивался он достаточно медленно, достигнув кульминации лишь в начале XVI в., когда архиепископ Альбрехт фон Гогенцоллерн, чтобы покрыть свой долг перед банкирским домом Фуггеров, поставил продажу индульгенций на поток, именем папы Льва X обещая приобретателям уже «всеобщее и полное отпущение всех грехов... избавление от всех мук чистилища, в том числе и тех, которые полагались за оскорбление Всевышнего, и от... необходимости каяться и исповедоваться в грехах»⁵⁶.

⁵⁶ Бейнтон 1996: 46.

И все же необходимо признать, что на каком-то этапе индульгенции вкупе с университетами образовывали интересную и вполне функциональную систему. Ведь с правовой точки зрения индульгенция представляла собой не что иное, как снятую, символическую форму нормоприменения, которое редуцировалось до сделки купли-продажи, совсем не предполагавшей глубокой рефлексии. И в этом плане

университет и индульгенции органично дополняли друг друга: в то время как искавшие интеллектуальных ответов на насущные вопросы творческое меньшинство концентрировалось в университетских городках, нуждавшееся в простых и понятных решениях большинство получало доступную процедуру урегулирования отношений с властями небесными и земными.

Но эффективность подобной системы имела свои пределы. Университет не мог не перерасти сам себя в качестве инструмента Церкви: объем «выпадающих» феноменов неизбежно продолжал нарастать, в том числе в результате деятельности самих университетов, тогда как набор легитимных средств и инструментов их реинтерпретации прогрессирующе сужался, что делало официальное богословие все более сложным и запутанным и в силу этого все менее убедительным. Равным образом рано или поздно должна была исчерпать себя и практика индульгенций. Растянувшееся на века, но неуклонное превращение их в обычный товар неизбежно наносило удар по легитимности продававшей их Церкви: трансформация жреца в полноценного купца возможна лишь за счет утраты им ресурса сакральности.

Что примечательно, расцвет торговли индульгенциями вполне коррелирует с постепенным закиснением базовой католической системы метафор: чем менее убедительным становилось официальное богословие, тем большее распространение получала практика продажи индульгенций. Конечно, даже будучи шаткой, легитимность власти католической Церкви могла бы, наверное, сохраняться и дальше, но по ней был нанесен серьезный удар, причем не изнутри, а извне системы: католический мир вступил в гегельсов цикл накопления капитала⁵⁷. Приток в Европу огромного количества золота и серебра, прежде всего из Америки, со всей остротой поставил вопрос о принципах дальнейшего распределения этого ресурса и легитимации новых собственников. Понятно, что нарастающая ригидность католической системы метафор препятствовала его решению: официальное богословское нормотворчество, и так не очень справлявшееся с регулированием повседневной жизни, было практически вытеснено из нее практикой индульгенций. Последние же по определению были слишком зыбким и спекулятивным основанием для узаконивания новых собственников и новых социальных ролей. Давление нового капитала интенсивно вытесняло католическую Церковь на периферию актуальных политических процессов и в перспективе выводило ее из числа основных брокеров и бенефициаров начавшегося накопления.

Размах протестантской революции, обычно обосновываемый возмущением, которое вызвали злоупотребления Церкви с индульгенциями, на уровне базовых причин куда убедительнее объясняется тем, что Мартин Лютер *de facto* предложил новую онтологическую конструкцию, в рамках которой капиталы и собственники могли быть легитимированы на куда более простых и в силу этого представлявших более надежными условиях. Обретшая ресурс и автономию фигура

⁵⁷ *Арриги 2006: 161—162.*

купца начала избавляться от конкурента в лице увлекшегося торговлей жреца — и пытаться узаконить себя и свою прибыль самостоятельно. В этом плане весьма показательна структура Шмалькальденских артикулов, где изложены символы веры протестантизма: в содержательном отношении этот документ представляет собой линейное, чуть ли не механическое отрицание всех основных постулатов католицизма. То, что католицизм утверждал, отрицалось, то, что отрицал, — утверждалось. Конкуренция двух онтологических метафор, нарождавшейся купеческой и во многом исчерпавшей свою емкость жреческой, закономерным образом привела к победе первой — и довольно продолжительному упадку второй.

Борьба за ресурсные потоки, впрочем, никогда не бывает легкой. Конфликт двух онтологических альтернатив, подогреваемый искавшими легитимации деньгами, способствовал поляризации противостоящих сторон, оформившихся в виде католической Испанской империи и восставших голландских провинций, и массовому брожению умов. Столкнувшись с угрозой своим базовым устоям, хранители католической метафоры были вынуждены отбросить мягкость и вступить в бескомпромиссную и подкрепленную санкциями борьбу с отклонениями. На свет появился мрачный институт испанской инквизиции: в отличие от своих вполне «вегетарианских» предшественников, детище Томаса де Торквемады в буквальном смысле слова огнем выжигало когнитивные альтернативы католической картине мира, верша уже не относительно справедливый суд, а массовые расправы⁵⁸. Но эта историческая, по сути, реакция уже приносила мало пользы, скорее подрывая, нежели укрепляя status quo: превращающаяся в регулярность жесткость средств переводит борьбу с уровня конкуренции смыслов на уровень противостояния действий, где смыслы редуцируются до способа различения «свой—чужой», тем самым во многом утрачивая свою содержательность и привлекательность, — что, собственно, и произошло в 80-летней войне голландских провинций с Испанией⁵⁹.

⁵⁸ Григулевич 1985: 228—240, 254.

⁵⁹ Арриги 2006: 89.

NB! Примечательно, что падение когнитивной емкости системы метафор, когда когнитивное производство с неизбежностью обнаруживало себя в прокрустовом ложе предыдущих норм и правил, оказалось исключительно католической проблемой, вытекавшей из всевластия папы. Православие, оставив главу Церкви в статусе предстоятеля, то есть не претендующего на право говорить от имени Бога человека, сохранило функцию установления конечной истины в качестве прерогативы общества в целом. Это породило иной формат коллективных исканий, отлившийся в концепт справедливости. Будучи суммой компромиссов, он гораздо более сложен как с точки зрения принятия и легитимации решений, так и с точки зрения обязательности их исполнения: в православии вполне возможно немислимое в католицизме легитимное неисполнение решения, если то полагается неправильным и несправедливым.

При этом принципиально несакральный статус любых властных и нормативных институтов обеспечивал исключительную гибкость изначальной системы православных метафор, которые легко и без ущерба для учения в целом могли быть модифицированы соответственно требованиям времени. Институционально заданное Константином неполновластие власти всегда оставляло свободу маневра, делая невозможным закосневание онтологической системы метафор.

Именно несбалансированность католической системы метафор стала причиной коллапса христианского языка описания политики и политического в Европе: изначальное всевластие обернулось бессилием, а прогрессирующая косность сделала невозможной его модификацию в соответствии с новыми факторами развития. Практики инквизиции лишь усугубили ситуацию с онтологической релевантностью, что стимулировало выросшее на американском золоте новое купечество искать основания своей легитимности за пределами католической метафоры. В итоге католическая картина мира раскололась, но ее распад открыл возможность для возникновения трех новых языков описания политики и политического. Эти языки относятся соответственно к Возрождению в Италии, протестантизму в Германии, Швейцарии и Англии и Великой французской революции.

Библиография

- Августин Блаженный.** 2000. *О граде Божьем*. — Минск, М.
- Августин Блаженный.** 2008. О благодати и свободном решении // Августин Блаженный. *Антипелагианские сочинения позднего периода*. — М.
- Арган Дж.К.** 1990. *История итальянского искусства*. — М.
- Арриги Дж.** 2006. *Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени*. — М.
- Бейнтон Р.** 1996. *На сем стою: Жизнь Мартина Лютера*. — М.
- Григулевич И.** 1985. *Инквизиция*. — М.
- Грицанов А.А.** 1998. *Новейший философский словарь*. — Минск.
- Коктыш К.** 2002. Социокультурные рамки институционализации политических практик и типы общественного развития // *Полис*. № 4—5.
- Мейендорф И.** 1997. Апостол Петр в византийском богословии // *Альфа и Омега*. № 14.
- Мейендорф И.** 2001. *Византийское богословие: Исторические тенденции и доктринальные темы*. — Минск.
- Мейендорф И.** 2002. *Введение в святоотеческое богословие*. — Киев.
- Моммзен Т.** 1997. *История Рима: В 3-х т.* Т. 1. — СПб.

- Моммзен** Т. 2002. *История римских императоров*. — СПб.
- Норвич** Дж. 2010. *Срединное море: История средиземноморья*. — М.
- Ольденбург** З. 2001. *Костер Монсежюра: История альбигойских крестовых походов*. — СПб.
- Плутарх**. 1994а. Ромул // Плутарх. *Сравнительные жизнеописания: В 2-х т.* Т. 1. — М.
- Плутарх**. 1994б. Пелопид // Плутарх. *Сравнительные жизнеописания: В 2-х т.* Т. 1. — М.
- Плутарх**. 1994в. Марк Катон // Плутарх. *Сравнительные жизнеописания: В 2-х т.* Т. 1. — М.
- Светоний** Гай Транквилл. 1964. *Жизнь двенадцати цезарей*. — М.
- Священномученик Киприан**, епископ Карфагенский. 1999. *Творения*. — М. (http://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/kniga_o_smertnosti/).
- Сергеев** В.М., Казанцев А.А., Коктыш К.Е. 2010. *Сетевые аспекты проблем обучения в социальных науках*. — М.
- Соловьев** Э. 1984. *Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время*. — М.
- Тит Ливий**. 1989. *История Рима от основания города*. — М.
- Тойнби** А. 2010. *Постижение истории*. — М.
- Фома Аквинский**. 2005. *Сумма теологии*. Ч.1. — Киев.
- Фуко** М. 1999. *Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы*. — М.
- Хеглунд** Б. 2001. *История теологии*. — СПб.
- Эббот** Дж. 2004. *Ромул: Основатель Вечного города*. — М.
- Goldsworthy** A. 2006. *Caesar: Life of a Colossus*. — New Heaven, L.
- Hoek** A. van den. 1997. The «Catechetical» School of Early Christian Alexandria and Its Philonic Heritage // *Harvard Theological Review*. Vol. 90. № 1.

References

- Abbott** J. 2004. *Romulus: Osnovatel' Vechnogo goroda*. — М.
- Argan** G.C. 1990. *Istorija ital'janskogo iskusstva*. — М.
- Arrighi** G. 2006. *Dolgij dvadcatyj vek: Den'gi, vlast' i istoki nashego vremeni*. — М.
- Bainton** R. 1996. *Na cem stoju: Zhizn' Martina Luthera*. — М.
- Foucault** M. 1999. *Nadzirat' i nakazyvat': Rozhdenie tjur'my*. — М.
- Gaius Suetonius Tranquillus**. 1964. *Zhizn' dvenadcati cezarej*. — М.
- Goldsworthy** A. 2006. *Caesar: Life of a Colossus*. — New Heaven, L.
- Gricanov** A.A. 1998. *Novejshij filozofskij slovar'*. — Minsk.
- Grigulevich** I. 1985. *Inkvisicija*. — М.
- Hägglund** B. 2001. *Istorija teologii*. — SPb.
- Hoek** A. van den. 1997. The «Catechetical» School of Early Christian Alexandria and Its Philonic Heritage // *Harvard Theological Review*. Vol. 90. № 1.

- Koktysh K.** 2002. Sociokul'turnye ramki institucionalizacii politicheskikh praktik i tipy obshhestvennogo razvitija // *Polis*. № 4—5.
- Meyendorff J.** 1997. Apostol Peter v vizantijskom bogoslovii // *Al'fa i Omega*. № 14.
- Meyendorff J.** 2001. *Vizantijskoe bogoslovie: Istoricheskie tendencii i doktrinal'nye temy*. — Minsk.
- Meyendorff J.** 2002. *Vvedenie v svjatootecheskoe bogoslovie*. — Kiev.
- Mommsen Th.** 1997. *Istorija Rima: V 3-kh t.* T. 1. — SPb.
- Mommsen Th.** 2002. *Istorija rimskikh imperatorov*. — SPb.
- Norwich J.** 2010. *Sredinnoe more: Istorija sredizemnomor'ja*. — M.
- Oldenbourg Z.** 2001. *Koster Monsegura: Istorija al'bigojkskikh krestovyx pokhodov*. — SPb.
- Plutarch.** 1994a. Romulus // Plutarch. *Sravnitel'nye zhizneopisanija: V 2-kh t.* T. 1. — M.
- Plutarch.** 1994b. Pelopidas // Plutarch. *Sravnitel'nye zhizneopisanija: V 2-kh t.* T. 1. — M.
- Plutarch.** 1994v. Marcus Cato // Plutarch. *Sravnitel'nye zhizneopisanija: V 2-kh t.* T. 1. — M.
- Sergeev V.M., Kazancev A.A., Koktysh K.E.** 2010. *Setevye aspekty problem obuchenija v social'nykh naukakh*. — M.
- Solovyev E.** *Nepobezhdennyj eretic: Martin Luther i ego vremja*. — M.
- St. Augustine.** 2000. *O grade Bozh'em*. — Minsk, M.
- St. Augustine.** 2008. O blagodati i svobodnom reshenii // Saint Augustine. *Antipelagijskie sochinenija pozdnego perioda*. — M.
- St. Cyprian of Carthage.** 1999. *Tvorenija*. — M. (http://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/kniga_o_smernosti/).
- St. Thomas Aquinas.** 2005. *Summa teologijj*. Ch. 1. — Kiev.
- Titus Livius.** 1989. *Istorija Rima ot osnovanija goroda*. — M.
- Toynbee A.J.** 2010. *Postizhenie istorii*. — M.

Окончание следует